

ЕВАНГЕЛИЕ ТРИНАДЦАТОГО АПОСТОЛА

Поэтика Владимира Маяковского

Мегабессимая гай - 1993 -
11 авг. - С.Ф.

Елена Клименко

Кафедра соцреализма

НЕ ВЕРЬТЕ его паспорту. Он был лишен гражданства по причинам сугубо поэтическим. Вероятно, спустившись на грешную землю на сконструированном великим Татлиным «Летатлине», он готов был вмазать Богу за то, что тот сочинил его таким бескрылым... Всемогущий пожелал доказать ему, что он смертен, надев зрением, слухом, голосом. И он увидел и услышал плач и хохот горячей обновленной земли на рассвете. И повторил их вибрацией собственного голоса. (Он был Адамом, поэтому его никто не услышал.)

Его юношеский бунт неостребованности причудливым образом смешалась с красноречивыми символами социальное-одноголозой действительности, которая долгое время пыталась (часто успешно) подчинить себе мятеж нарождающейся эстетики. Его творческие и нравственные ориентиры были смещены беспощадным временем, порвавшим тонкие ризы культуры цепями варварства, сковавшими поэта. «Мир втянулся и растянулся и вновь сократился, наподобие аккордеона во власти садистской руки» (Сандарв). Бредовой мечтой Маяковского станет гениальное сращение усталых глыб мира — первозданного аккордеона, который нежно гладили его садистские руки, израненные колючим крошечком распавшихся цивилизаций. Его широкий шаг был намеренно замедлен волочившимся за ним земным шаром, без конца наминавшим ему о том, что он пленник, раб, жертва. В пределах мира он оставался язычником, омывшим землю благостным потоком цинизма и преданным ей, как дождевой червь. В разреженном пространстве своей затворческой выси он был по-христиански светел и праведен, как Святой Дух, глухо воркующий голубь.

В облаке скважина.

Заглядываю —

Ангелы поют.

Как пьяный корабль, он шатается по морю («Я бы всех в любви моей выкупал...»), разлившись в мировой прачечной, где он отбледал до белой горячки свои стихи и стершееся человежье имя: «Праччи... Кто это? Дочери неба и зари?» А мир обернулся к нему голючущей потной мордой прачки, проститутки, тюремщика и бросил «с острия луча клочок гнилого мяса». Сын неба и зари, вскормленный волками (он даже в будущем определил себе место хранителя зверинца), угадав запах гнильцы, стал охранять свой голодный дух в родовом логове, в растущих трещинах между собой и миром.

Прорыв в другую реальность, к яви непрожитого будущего, которое закипало в прогнивших недрах отжившего, осуществился только как трагический излом, ломаная которого прощивает одним своим концом жирный грим атакующего класса, а другим — угасает в ожигших и искавших приют в искусстве патологиях и аномалиях насильственного раскрепощения. Есть у Маяковского одна не осуществившаяся в лирике тема: парижская проститутка с бульвара Капуцинов, любить которую считалось особым шиком, потому как та была одноно-



гой. Есть трогательный (с чудовищным итогом) прозаический рассказ о друге-артисте, что умел только щелкать кастаньетами, которому война изуродовала руки, лишив его и этого малого дара. В первом случае увечье и ремесло солидарны, и это бессмысленное сращение, будучи вставленным в норму, пользуется спросом. Во втором — не нарушая этой же нормы, увечье и ремесло навсегда распадутся так же бессмысленно. Полгическое сознание Маяковского колеблется между двумя полюсами катастрофы, как между эстетически значимыми сдвигами, взрывая патологические напластования нормы коротким замыканием творческого шока. И пресепающая проститутка влюбленно всматривается в изуродованного артиста:

Тело твое
буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный
войною,

ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.

Жест, заметим, высоко артистичный, — на «протяжении» его разрыгается мистерия рождения и гибели подлинного чувства, ибо тело возлюбленной любимо настолько, насколько бесполезна единственная нога.

Расчлененное, прошедшее сквозь мясорубку гибельных открытий человеческое тело окажется объектом творческих исканий, тогда сползет, обуглившись, и словесная кожа: «Слово должно быть из мяса здорового, красного мяса». Это «здоровое красное мясо» — то, что стало со второй ногой обрубленного войною солдата, — пронзительная боль воспоминания о некогда здоровом, прекрасном, цельном и живом теле. А «единственной ногой» солдат грубо попинывает будничное благополучие обыденности. «Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюрморта, не увидит повешенных в Калише». Иными словами, вдохновенного мяса под толстой шкурой мамонта-цивилизации. В порыве раздеть реальность, смахнуть с нее серую пыль проскочит и такое: «блестящие глаза повешенных голов фонарей». Мускул слова рос за счет драгоценного объема поэтического вещества, запаха «мяса», рваного на куски футасами интонаций, утяжелая прожиточный воздух, «голая» реальность самоутверждалась как бутафория, смявшая поэта до дурилки картонной, зачарованной блестящими бутафорскими глазами и отсутствием одной ноги как условием и преимуществом подлинной страсти.

Трудом и любовью он прошибал напластования времени и мусор обыденности, которые налипали на намагниченный стиховой лад и нещадно его коверкали. В потере

себя он доходил до сквернословия, бил в тамтамы левых маршей только во имя того, чтобы переложить оду «Вольность» на пролетарский санскрит. Раскол культуры, ее грехопадение он ощутил на языковом уровне и пережил мощный взрыв мельчайших частиц языка, определивший непривычный семантический сдвиг: у Маяковского не «я говорю», а «мною говорят». «Горлан» разъял речь на за-речь-е, припав к оголенному, живому и упругому корню каждого слова, выкорчевывая закономерности логических связей актуальной противозаконностью корневых — более древних и эстетически значимых для поэта. Языковому вывиху была дана возможность залечиться в неожиданном крещении Нового Слова, которое нянчили поэт и поэзия и которое безвозвратно утонуло в купели, затянутое в воронку госплановско-заводской тарабарщины с шербатым оскалом чудовищных аббревиатур. Летящая в никуда «лесенка» Маяковского — затянувшаяся иллюзия приближения к мертвешему слову импровизация сумасшедшего, который боится утратить единственно возможную для него языковую реальность и одновременно борется с ней, как с черным бездонным Ничто, которое поглощает поэта, оставляя миру призрак, мираж. «Лесенка» Маяковского — та самая лестница, по которой ступал Раскольников, вслушиваясь в бездну предстоящего преступления, чтобы потом еще раз изощренно симитировать открытый шок, позвонив в дверной колокольчик. Под воздействием этого звенящего шока слово Маяковского «сползает» вниз от классической просветленности к темной речи протокола вселенского преступления.

Он божь от литературы, ее бездонный первенец, каждодневно нарастающий горлом стиховую массу ценой непрерывного саморазрушения и оттачивания болезненной обиды. Разумеется, обиды талантливой, смело предавшей поэта, как жертвенного агнца, распятию улицей и революцией. И антиэстетика строящегося Града была явлена как высокая и трагическая эстетика беспощадного внутреннего распада. Талант крошился временем на плакаты и лозунги, кидался в РАГП и ЛЕФ, Париж и Америку, громыхал, оплакивая последний день Помпеи собственной души. Но вулкан, давно отравленный грязными революционными испарениями, не угасал.

Потому что любил. Как всегда, неплоду, не в рифму. Но только ее одну. Ряд волшебных измененный милого лица: Мадонна — у Пушкина, Прекрасная Дама — у Блока, Революция — у Маяковского. Это она явится к нему, заждавшемуся с 1916 года, и прощипит, муча перчатки замш:

Знаете —

Я выхожу замуж.

Резанула — по нерву, по флейте-позвонучику. Стала его шестикрылым серафимом и все теми же замшевыми перчатками «взяла и отобрала сердце», оставив на его месте «утль, пылающий огнем», пороховую бочку безответного чувства, Везувий, начиненный трупами умерших слов, из которых все — от «Люблю!» до «Сволочь!» — обращены к предавшей, но любимой.

Возможно, для нее он так и останется Рыцарем с перебитым позвоночником. Занозистой щепкой, выброшенной на берег свет-

лым потоком серебряного века. В силу своей неизменной бабьей слабости она всегда будет думать, что его «Люблю!» — это к ней и о ней, а его «Сволочь!» (Блок соизмерял экспрессивную мощь этого слова только с эпитетом «родная») — к зажившему уху канареечных бубуазов (неологизм из слов boob — «дурень» и «буржуазия»). А он любил ее, сволочь — тифозную, вшивую, голодную, человеческую. Знал, видно, что большей любви не будет, что именно эта — делает его бес- смертным.

Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызрелась румянцем

чахоточного.

И как только ощутил на своих обугленных губах привкус бессмертия, оседлал строку-Росинанту, в безумной надежде продать незатахнувший пожар сердца за... паспорт. Серпастый-молоткастый был вынут не только из широких штанин, но из незаживающего душевного пореза, как кукиш сытости сытых и как увековеченное Удостоверение Личности, граничащее с криком о помощи.

Мама!

Ваш сын прекрасно болен!

Сей документ мистически не-расторжимо связал неоконченные судьбы поэта и революции (певца и песни) и перманентный роман, чтобы «маленький громадин» не догадался, что развязка романа не сделает его про-роком или Прометеем. Любимая определила его в сан Про-дажного. И — просчиталась. Вещая змея укусила Росинанту.

Сама поэзия, чутко угадывающая будущие кошмары, воспротивилась «красной свадьбе». Спазматическое косноязычие костенело остывающей лавой, пока недра вулкана согревались простым мычанием совести. Перво-родный грех так и не ставшего гражданином Поэта отмылся на небесах поэзии, пока по земле катилось алое яблоко окрашенных знаменами преобразований. Вот тут-то широко шагающий по земле Поэт наткнулся на чахоткины плевки. И некая душевная астма, сломившая до него и после него многих, проявится в сознании ярче, чем на рентгеновских снимках: растянутая в веках тязьба художника и власти, преобразованная временем и индивидуальностью поэта в роман-поединок с шекспировской начинкой, начала задыхаться в самом герое обновленного времени. Точка опоры застарелого конфликта была смыта титанической работой сплошного сердца: «Люблю! Сволочь. Сволочь... Сволочь...» Хулиган огрызнулся и сплюнул сквозь зубы. Барышня, не сказав «Фи!», оскалила голодные клыки, чтобы прикрыть их последним роковым поцелуем с пулей: «Телогения и есть освобождение, о котором мы мечтали; разрушение исходной благодати, пересеченное новым насилем» (Рембо). И поэзия по-матерински нежно коснется раскороенного революцией черепа своего Сына, безвозвратно отданного миру, вздохнув: «О бедный Йорик!» — начертает на первой странице Евангелия тринадцатого Апостола: «Дальнейшее — молчание...»

Он вернулся к нам сегодня, чтобы сжечь чучело великого поэта революции на том костре, где сторел он сам. Снимите шляпу. Самое время.